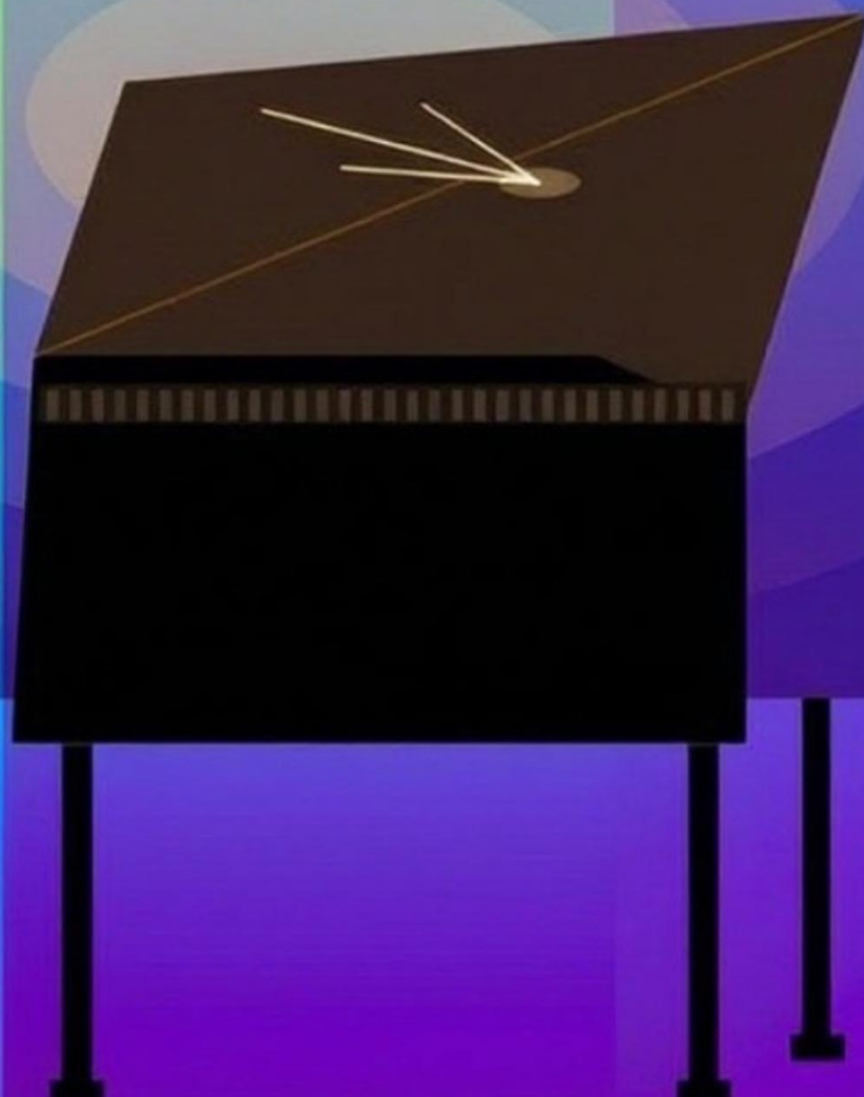


ТРИ ЛИНИИ В ТОЧКУ

роман



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Тати Фольс

Три линии в точку

«Автор»

2026

Фольс Т.

Три линии в точку / Т. Фольс — «Автор», 2026

Они смеялись, пока воск капал в воду, пока карты ложились веером, пока зеркало отражало только их собственные лица. А потом свеча мигнула, и в отражении на долю секунды мелькнуло что-то чужое — не лицо, не предмет, а будто тень чужого намерения. Смех оборвался, как перерезанная нитка. И в наступившей тишине стало слышно, как в соседней комнате кто-то тихо перелистывает страницы, хотя в квартире больше никого не было.

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Тати Фольс

Три линии в точку

Глава

Три линии в точку.

Пролог.

Октябрь в том году был на удивление сухим. Ни слякоти, ни ранних заморозков — только ветер, который гнал по асфальту сухие листья и заставлял скрипеть старые качели во дворе. Казалось, город специально задержал дыхание, чтобы не спугнуть последние тёплые дни.

Марина стояла у окна на четвёртом этаже и смотрела вниз, туда, где под чугунной оградой темнел силуэт тополя. Дерево уже сбросило почти всю листву, и его голые ветви напоминали трещины на старой фотографии — чёткие, чёрные, будто кто-то провёл по небу углём. «Он придёт сегодня», — сказала она вслух, хотя в комнате никого не было. Просто ей нужно было услышать это слово — «придёт» — как обещание, что сегодняшний вечер не будет таким, как все остальные. Что он не закончится тишиной. На подоконнике лежала тетрадь — клетчатая, с потрёпанным корешком, которую Марина носила с собой ещё со школы.

На первой странице аккуратным почерком было выведено: «Для того, кто найдёт». Ниже — ни даты, ни имени, только тонкая линия, будто автор хотел оставить место для чего-то важного, но так и не решился вписать. Она провела пальцем по обложке, словно проверяя, не стёрлись ли чернила, не исчезла ли надпись от времени. Но буквы держались крепко — будто сами не хотели быть забытыми. В прихожей щёлкнул замок. Дверь открылась, потом закрылась, и по коридору пошаркали знакомые шаги — Зоя Петровна вернулась из магазина. В воздухе сразу запахло хлебом и холодом улицы, который она принесла с собой на пальто.

— Маринушка, ты опять у окна? — голос мамы был усталым, но мягким, как старая шаль. — Не стой там, сквозняк. Марина не обернулась. Ей казалось, что если она сейчас повернётся, то упустит что-то важное — тот самый момент, когда тень под тополем шевельнётся, и он выйдет из темноты.

— Я просто смотрю, — ответила она, не отрывая взгляда от двора. — Там внизу... кажется, кто-то есть.

— Опять твои фантазии, — вздохнула Зоя Петровна, вешая пальто. — Это листья шуршат. Или кошка. Или ветер. Ветер.

Да, это мог быть ветер. Но Марина знала: ветер не оставляет следов на мокром асфальте. А там, под деревом, был след — один, чёткий, будто кто-то стоял и ждал, пока его заметят. И ушёл ровно за секунду до того, как она посмотрела вниз. Она сжала край подоконника так, что побелели пальцы. «Он придёт», — повторила она про себя, как заклинание. И на этот раз не вслух, чтобы мама не услышала и не покачала головой, не сказала бы опять: «Хватит придумывать». А придумывать тут было нечего.

Он приходил каждый октябрь. Стоял под тополем, смотрел на её окно, иногда поднимал руку — не махал, нет, просто держал ладонь у козырька, будто отдавал честь невидимому стражу. И уходил, не оборачиваясь, растворяясь в вечерних сумерках, как будто его и не было. Но следы оставались. И сегодня она решила: если он придёт снова, она выйдет. Не будет стоять у окна, как испуганная девочка, не будет ждать, пока мама уснёт. Она спустится во двор и скажет: «Я знаю, что ты здесь. И я не боюсь». Тетрадь она положила в сумку — ту самую, с надписью: «Для того, кто найдёт». Пусть будет с ней. Если что-то случится, пусть кто-нибудь когда-нибудь прочтёт эти страницы и поймёт: она не просто ждала.

Она готовилась. Позже, когда всё закончится, когда двор опустеет, а тополь станет единственным свидетелем, кто-то найдёт эту тетрадь. Не сразу — через годы, через чужие руки, через забытые коробки и случайные находки. И тогда начнётся другая история — не про ожидание, а про поиск. Про тех, кто ищет ответы в старых записях, в шелесте сухих листьев, в тени, которая на секунду кажется человеческой. Но пока — октябрь 1994-го.

Пока окно открыто на щелочку, чтобы слышать, как скрипит ограда у тополя. Пока тетрадь лежит в сумке, а на первой странице всё так же чётко выведено: «Для того, кто найдёт». Пока он ещё не ушёл. Пока он ещё здесь — под деревом, в темноте, среди сухих листьев. И ждёт.

Глава 1.

Вечер, который должен был быть обычным погадать предложила Маша, а квартиру дала Лена — и в этом была определённая логика вселенной, которую Катя пока не раскусила.

«— Никакой мистики», — сказала Катя в трубку, пока автобус трясло по мосту через Ангару.

— Я приду, посмеюсь, выпью чаю и уйду. Договорились?

— Договорились, — отозвалась Маша таким тоном, каким договариваются с ребёнком, который обещает не трогать выключатель, и обе стороны знают, что выключатель будет тронут.

— Только прихвати нормальные свечи. Лена нашла какие-то церковные, от них, по моему, в голове звенит.

— От церковных свечей звенит в голове?

— У Лены звенит. Она особенная. Катя усмехнулась и положила трубку.

В окне плыл октябрьский вечер — серый, промозглый, честный. С такими вечерами всё было просто: дома, чай, сериал, сон. Сложности начинались позже — когда сидишь на полу подруги, тасуешь карты и не знаешь, что одна из них уже легла так, как легла когда-то другая рука, в другое время, в другой жизни этой же комнаты. Но до этого было далеко.

Пока автобус просто вёз Катю к подругам, и вечер был обычным. Ленина квартира пахла старым деревом и чуть-чуть — пылью на радиаторах. Дом был старый, довоенный, с высокими потолками и скрипучим паркетом, и Лена говорила об этом так, как говорят о характере собаки: «Он немного холодный, но у него хорошая душа». — Ты опять не топишь? — Катя скинула ботинки и поёжилась.

В прихожей было заметно прохладнее, чем на улице.

— Топлю, — Лена вышла из кухни с чайником, на котором вместо ручки красовалась тряпка. — Просто дом медленно прогревается. Он старенький.

«Он старенький», — мысленно повторила Катя.

Лена говорила о доме «он», как о живом. Дома стареют, домам холодно, домам звенит в голове от церковных свечей. Катя выпила это, не возражая: со Леной надо было принимать её картину мира целиком, как принимают родственника с причудами. На кухне уже сидела Маша — разложила по столу карты в новой, подозрительно гладкой колоде, свечи, блюдо и какую-то мензурку с водой.

— Откуда у тебя мензурка?

— Ленина. Для воска. В интернете пишут, надо капать воск в воду и смотреть, какая фигура получится.

— В интернете пишут, — эхом отозвалась Катя и поставила на стол пакет с печеньем. — В интернете ещё пишут, что если съесть ложку корицы, то можно выиграть в лотерею.

— Это не корица, это испытание. Маша говорила всегда так: весело, стремительно, чуть вразной, как будто мысли обгоняли язык, и он не успевал. Она была самой младшей из них — на два года младше Кати и на один — Лены, и в компании это ощущалось: она первая кричала «давайте попробуем», первая влезала на перила, первая произносила в темноте: «А вы слышали?» — и тем самым делала темноту темнее. Лена налила чай. Села. Посмотрела

на свечи, на карты, на мензурку и вздохнула так, будто стояла на перроне и провожала поезд, который ей не нравится. — Вы уверены? — спросила она.

— В чём? — Маша уже тасовала колоду, ловко, с лёгкой небрежностью человека, который делает это впервые, но уверен, что получится. — Ну... гадать. Всё-таки... — Лен, мы гадаем на то, кто первым выйдет замуж и где будет отпуск. Мы не призываем никого из потустороннего мира. Расслабься. «Мы не призываем никого из потустороннего мира, — повторила про себя Катя и запнулась на слове «призываем». Внутри что-то тихонько дёрнулось — не страх, нет. Просто память о бабушкином правиле: не сули вслух, не зови лишний раз.

Бабушка была не суеверной, а осторожной, и различие между этими двумя Катя поняла только к тридцати годам. «Пустяки, — сказала она себе. — Мёрзну просто. Тут холодно, как в кладовке».

— Печенье есть? — спросила Маша, нарушила неловкость.

— На столе.

— Отлично. Значит, программа вечера: чай, печенье, три расклада и по желанию — зеркало. Зеркало по желанию, я настаивать не буду.

«— Зеркало — это уже перебор», — сказала Катя.

— Зеркало — это уровень «суббота вечер, ужасы по телевизору».

— Зеркало просто отражает, — возразила Лена. Тихо. Слишком серьёзно для этой фразы. — Оно ничего не придумывает.

Все три на секунду замолчали. Где-то на кухне — они потом так и не выяснили, кто это слышал первым, — тихо, едва слышно, пересохло скрипнула половица. Как будто кто-то перенёс вес с ноги на ногу. Дверь на кухню была открыта. За дверью было пусто.

— Кот, — сказала Маша уверенно.

«— У тебя нет кота», — сказала Катя.

— У Лены нет кота, — поправила Маша.

— Но кот есть у всех домов таких эпох. Дом не может не иметь кота. Это против закона жанра. Лена улыбнулась — чуть натянуто, как улыбаются, когда хотят, чтобы шутка была смешнее, чем оказалась.

Они выпили чай. Съели печенье — всё, до крошки, потому что за разговорами про начальство, про дешёвые авиабилеты и про бывшего Маши, который снова написал в двадцать три часа сорок минут (это обсуждали дольше всего), время прошло незаметно.

За окном окончательно стемнело. Город за стеклом рассыпался на жёлтые точки — окна, фонари, чьи-то поздние кухни. Где-то внизу проехала машина, и звук её двигателя долго таял, как тает шаги в снегу. Потом Маша отодвинула чашки и сказала то, из-за чего они, собственно, здесь собрались: — Ну что. Начинаем?

Свечи горели ровно. Три огонька, три маленьких тёплых окна в комнате, где не было ничего, кроме чая, подруг и карт. Всё было обычным. «Всё было обычным» — так Катя потом запишет в дневнике, если вообще запишет. Самые страшные главы всегда начинаются словами: «всё было обычным».

Глава 2. Ритуал и первые сбои

Первая странность случилась задолго до карт. Маша разложила три свечи — снова треугольником, не заметив этого, — и Катя чиркнула спичкой. Первая зажглась. Вторая зажглась. Третья погасла. Катя чиркнула ещё раз — погасла. На четвёртый раз вспыхнула сразу, как будто передумала.

«— Фитиль мокрый», — сказала Катя ровным голосом.

— Со свечами так бывает.

«— Со свечами так не бывает», — сказала Маша с удовольствием.

— Свечи горят всегда. Это их единственная работа. «Ты первая их зажгла в этом доме за много лет», — подумалось вдруг Кате, и она не знала, откуда пришла мысль. Такие мысли

приходили к ней весь вечер — лёгкие, как пыль, которую сметаешь, а она всё равно остаётся в воздухе. Карты легли плохо. Не «плохо» в смысле расклада — расклад был вообще никакой. Маша выкладывала карты в три ряда по семь штук, как велела, — нет, как написала в заметках на телефоне, — колонка и тут же путалась, потому что карты ложились как попало: крест-накрест, веером, лицом вниз лицом вверх. Тасовала три раза. Каждый раз — тот же хаос.

— Может, дашь мне? — предложила Катя.

— У меня руки сухие. Она перетасовала колоду — спокойно, размеренно, как тасуют колоду — и выложила первые семь карт. Крести-накрест. Точно так же, как у Маши. Лена, до этого молчавшая, медленно подняла голову.

«— Так, стоп», — сказала она.

— Вы это... в прошлом раскладе тоже так выложили? Крест-накрест?

«— У меня не было прошлого расклада, я путалась», — сказала Маша.

— А Катин... Маша пересчитала. Счёт сбивался на третьей карте — не потому, что она не умела считать, а потому, что на двенадцатой секунде она понимала, что карты в ряду не семь, а восемь, а на тринадцатой — что шесть.

— Семь карт не помещаются в семь мест? — сказала Катя.

— Извини, это опровергает арифметику.

— Сами карты помещаются. Просто они не останавливаются на местах. Лена взяла колоду. Перетасовала — медленно, с непривычной неловкостью, как будто держала карты впервые. Выложила. Крест-накрест. «Она выложила так же, — понял Катя.

— Все трое. Три разных человека, три разные руки — один и тот же хаос».

«— Это трюк», — сказала Катя.

— Колода клееная, карты слипаются на сгибах...

— Катя.

— Что?

— Катя? — Молчи, — сказала Лена.

— Пожалуйста. Пока молчи. И Катя — впервые в жизни — замолчала. Не потому, что испугалась. Потому что голос Лены прозвучал так, как звучат голоса людей, которые стоят на краю и не хотят, чтобы им мешали. Воск капали в мензурку. У Маши получилась клякса — Маша довольная клякса, из которой она с восторгом высматривала и сердце, и луну, и НЛО. У Кати — обычная лепёшка с зубчиками. А у Лены воск застыл мгновенно, на середине падения, вытянулся тонкой нитью, сломался и застыл в воде столбиком. Ровным, как игла, белым, как кость. Столбик стоял в мензурке вертикально. Не лежал — стоял.

«— Так не бывает», — сказала Маша уже не с удовольствием. — Воск в воде... он плавает. Он лёгкий.

«— Он лёгкий и тёплый», — сказал Катя. — Скорее всего он... Она не договорила, потому что в этот момент свеча на краю стола мигнула и погасла. Без ветра. Без звука.

Двери были закрыты — Катя закрыла их ещё когда раскладывала карты, на всякий случай, рациональный случай, который она не озвучила. В комнате ничего не изменилось: та же температура, та же тишина. Просто огня стало на один меньше.

— Проводка, — сказала Катя.

— Что проводка?! — Маша повысила голос — не от злости, оттого, что голос её предал и выдал страх раньше, чем она успела его спрятать. — Свеча не от проводки! Свеча горит! Свеча, блядь, от огня горит!

— Маш, — сказала Лена тихо.

— Что «Маш»?! Свеча! Просто! Горит! Катя зажгла её обратно. Спичка вспыхнула с первого раза — раньше, за вечер, она не вспыхивала с первого раза ни разу. Огонёк на мгновение потянулся в сторону — в ту же, куда тянулось пламя Лениной свечи, — и вернулся ровно. «В ту же сторону, — зафиксировал Катин внутренний протокол.

— В сторону стены. В ту сторону, где...» — и она поймала себя на том, что не смотрит на стену. Просто не смотрит, о чём было единственное решение, которое за весь вечер у неё получилось.

Потом, много позже, она поймёт, что вся эта ситуация была не про мистику, а про выбор: с кем из троих первым она останется наедине с тем, что не объясняется. «Зеркало по желанию. Я настаивать не буду», — сказала Маша час назад. И вот теперь Маша стояла у старого зеркала — овального, в потемневшей раме, оно висело в прихожей, и Лена всегда его занавешивала шторкой, «от солнца», как она говорила, хотя солнца в прихожей не было никогда.

— Зачем мы это делаем? — спросила Лена.

«— Для атмосферы», — сказала Маша бодро.

Голос её был бодр так, как бодрят голоса, у которых нет выбора. — Просто чтобы снять напряжение. Смотрим три секунды и идём пить чай. В зеркале отражалась прихожая. Серый коврик. Крючки с куртками. Три бледных лица. Маша глубоко вдохнула.

«— Всё нормально», — сказала она. — Это просто зеркало. И зеркало — беззвучно, без единого движения воздуха — перестало быть просто зеркалом. В отражении было всё то же: прихожая, коврик, крючки. Но куртки на крючках висели по-другому — длиннее, старомодное, и крючков было не три, а пять. Коврик лежал ровнее — новее. А на полочке, которой в прихожей не было, стояла ваза — низкая, синяя, с облупленной глазурью. Три секунды. Потом зеркальная прихожая мигнула — и стала обычной: куртки, крючки, три лица. Три бледных лица, которые смотрели не на себя, а туда, где только что была ваза.

— Блик, — сказала Катя, и голос её был ровен. — Просто блик.

«— Блик не может менять расстановку мебели», — сказала Маша. Голос дрожал. Лена молчала. Она смотрела на зеркало — и смотрела так, как смотрят на человека, который сделал что-то ужасное, но всё ещё стоит рядом и дышит.

«— Она до сих пор тут», — сказала Лена тихо.

— Кто — она? — спросила Маша. Лена повернулась к ним. И Катя увидела — впервые за весь вечер по-настоящему увидела, — что Лена боится. Не как боится человек, у которого дрожат колени. А как боится человек, который всё это время что-то знал и молчал, потому что молчать было легче.

«— Живущая в квартире», — сказала Лена.

— Я же говорила вам... я говорила, что дом «с душой». Я не сказала остальное. Потому что не хотела, чтобы вы думали, что я сумасшедшая. «Душа», — подумала Катя. — Она говорила о доме «он». И ещё про шаги на кухне, слышанные в одиночестве. И про то, что церковные свечи звенят у неё в голове. Она не путала. Она предупреждала — как предупреждают, когда уверенны, что никто не поверит, — и это было самое страшное из всего, что случилось сегодня, потому что предупреждение было дано заранее, а она его пропустила мимо, как пропускают мимо вывеску «мокрый пол», пока не упадут. На кухне, за закрытой дверью, скрипнула половица. Тихо, терпеливо — так скрипит не случайный звук, а тот, который давно ждёт, что его наконец заметят. Никто из троих не сказал «кот».

Глава 3. Прорыв чужой памяти

Утро не принесло ничего. Ни тумана, ни гнетущей тишины, ни знаков — наоборот: солнце, цепляющееся за мокрые крыши, смех детей со школьного двора, запах сдобного теста из пекарни на углу. Мир вёл себя так, будто ничего не произошло. Так ведёт себя мир почти всегда, и именно поэтому Катя всегда доверяла ему больше, чем людям. Она пробыла у Лены до двух ночи. Чай, который она называла «нормальным», они пили у Кати, на её кухне, под работающим обогревателем — по одному и тому же чайнику, три раза. Говорить о случившемся не получалось: каждый раз, когда кто-то открывал рот, другой говорил одновременно — про работу, про погоду, про что угодно, — и тема сворачивалась, как сворачивается телеграмма, которую никто не решился отправить.

Расстались на рассвете, с шутками, которые были не смешными, и обещанием «спишемся». В автобусе Катя смотрела на своё отражение в тёмном окне — и не могла отделаться от мысли, что в отражении у неё старомодная куртка. Обернулась. Обычная. Своё. «Блик, — сказала она отражению. — Просто блик». Отражение не ответило, и это было единственное правильное, что оно могло сделать.

Днём Первой сорвалась Лена. Это случилось на работе — в банковском офисе, за монитором, посреди обычной серой недели. Лена заполняла справку. Пальцы шли по клавиатуре автоматически, а в голове было тихо — усталая, пепельная тишина человека, который не выспался. И в этой тишине пахло духами. Старыми. Тяжёлыми, сладковатыми, с тальком в основании — так пахла косметика, которую выпускали, когда её формула ещё не должна была быть «натуральной» и «без парабенов». Так пахла её мама — до восьми лет, до той зимы, после которой мама перешла на простое мыло и больше никаких духов в доме не заводила. «Мама» — подумала Лена. И тут же поправила себя: «Не мама. Мама давно жива и здоровей меня. Это не мама». Запах не уходил. Он обволакивал — вежливо, но настойчиво, как гость, который сел на диван и не собирается вставать. Лена встала сама. Прошла по офису, нюхая воздух, как собака, — и поймала на себе взгляд коллеги, которая что-то спросила и не получила ответ.

— Вы чего, Лен? — спросила коллега.

— Голова болит? — Духами чем-то пахнет. Не чувствуете? Коллега понюхала воздух — честно, всерьёз.

Потом покачала головой: — Нет. Тут вообще ничем не пахнет. Кондиционер. «Тут вообще ничем не пахнет». Лена села. Запах остался с ней — уже не в офисе, а внутри, как будто он переехал из воздуха в её память и обжился там. И вместе с запахом пришло знание. Не мысль — знание. Лена знала, как пахнет та, что живёт в её квартире. Знала так уверенно, как не знает ничего в этом мире: пудра, тальк, гвоздика, ещё что-то смолистое, тёплое, из тех духов, что держатся на шарфах до весны. Она не могла знать этого, потому что не нюхала никогда. Потому что та умерла — если умирают те, кто живёт в старых квартирах и не появляется в квитанциях, — за десятилетия до того, как Лена въехала сюда.

««Значит, это не знание», — сказала себе Лена. — Значит, это чужая память в моей голове». Она сжала ручку так, что пальцы побелели. И впервые за много лет — с восьмилетнего возраста, с той зимы, — заплакала на работе.

Тихо, профессионально, глядя в монитор, чтобы никто не заметил. Слезы были не её. Лена не знала, о чём плачет. Но плакала так, как плачут о матери, которой больше нет, и которая умерла, не услышав обещания. «Я не хотела, чтобы так вышло», — прозвучало в ней чужими словами, в женском наклонном почерке. И Лена, у которой никогда не было повода просить прощения у своей мамы, прошептала в пустой офис: — Прости. И запах стал легче. Совсем чуть-чуть — на полкапли. Как будто где-то очень далеко кто-то поправил подушку и лег поудобнее. У Кати Катя сорвалась второй — и не заметила, что сорвалась.

Её дом переживала лучший период своей жизни: чисто, стерильно, всё по местам. Катя помыла полы, протёрла полки, полила цветы — в эти выходные нечего было бояться, у страха не было даже формального повода. Она стояла посреди идеально чистой кухни и думала, что если занять руки и голову делом, то мысли о зеркале растворятся сами. Так это работает. Так это всегда работает. И тут она открыла шкаф — за чаем, обычным, за своим любимым чаем, который стоял на второй полке, — и не смогла найти. Рука шарилась по полке и не находила. Катя смотрела прямо на банку —, она стояла там, между крупами, — и рука шарилась мимо. Рука не слушалась. Рука ждала чего-то.

«Что ж...» — начал Катин внутренний протокол и осёкся, потому что протокол продолжился сам, чужим голосом: «Что ж, надо позвать. Мама всегда говорит: позови — само найдётся». Катя замерла с банкой в руке. Мама Кати умерла шесть лет назад. Рак, четыре стадии, три месяца. Катя сидела с ней все три месяца и не плакала — плакала после, на похоронах,

один раз, сдержанно, как сдержанные люди, — и с тех пор слово «мама» в её голове звучало как закрытая дверь: с той стороны за ней кто-то есть, но открывать нельзя.

«Позови — само найдётся», — сказал в её голове чужой, тёплый, чуть насмешливый голос. И рука Кати, не спрашивая разрешения, дёрнулась в сторону — в сторону пустого угла кухни, где стоял когда-то, много лет назад, в другой квартире, стол, за которым мама резала хлеб. Катя положила банку на место. Закрыла шкаф. Села на стул и посмотрела на свои руки — нормальные, взрослые руки с коротко подстриженными ногтями, — как смотрят на улики.

««Это не моё», — сказала она себе. — Это не мой страх, не мой голос, не мой жест. Что-то шьёт из меня швею. Латает во мне чужие швы». И тогда она поняла то, что в голове у неё выглядело как отчёт, а в сердце было просто холодом: Та, в квартире, — не привидение из телепередач. Она не хочет напугать. Она делает то, что делала в жизни: держится за своих. А теперь её руки чужие. И она тянется ими к тому, к чему тянулась бы, если бы могла. К дочери. Катя не знала, о чьей дочери это. Не знала — и всё-таки знала, как знала Лена про запах: безусловно, без деталей, всем телом.

Она сидела на кухне до темноты. Чай так и не был заварен. У Маши Маша сорвалась третьей — в полночь. Она лежала в своей маленькой однокомнатной квартире с мёртвым, открытым настежь окном — сама сняла шторы, сама включила весь свет, сама говорила себе: «Приоткроешь дверь — и она приоткроется». Она не верила в это, но не верить было слишком легко, и Маша выбрала верить — из принципа, а не из страха. Это было её личное, маленькое восстание против мира, который перестал быть логичным. Телефон она положила экраном вниз. Книгу — открытую, поверх одеяла. Всё так, как учат в роликах «как не бояться ночи». И тогда она услышала голос. Не со стороны. Не из-за двери. Не из-за шкафа. Внутри — так, как приходят мысли, только это не была её мысль. «Маша». Она зажмурилась. Сосчитала до десяти, потом до двадцати, потому что на десяти голос повторил, и повторил с той особой мягкой проникновенностью, с какой произносят имя человека, которого давно знают и которому давно сочувствуют. «Маша. Ты так и не спросила, что случилось».

«А что случилось?» — подумала Маша и тут же испугалась: а вдруг ответит. Голос не ответил. Голос ждал. Голос умел ждать — терпеливо, вежливо, как учат ждать в старых домах.

«Я не хочу спрашивать, — подумала Маша. — Я боюсь спрашивать. Я вообще не боюсь темноты, я боюсь вопросов».

««Ты боишься не вопросов», — сказал голос, и в нём была не угроза, а что-то совсем другое — что-то похожее на жаль.

— Ты боишься того, что после вопроса нельзя будет вернуться назад. Я тоже боялась. Потом спросила. И мне уже нельзя было назад». «Кто ты?» — подумала Маша. И тишина ответила ей — не словами, а вспышкой образа, ярким, коротким, как фото в просвет: эта комната, но с другой мебелью.

Окно. Стол. На столе — разложенный веером журнал, открытый на горизонте. За окном — такое же, как сейчас, октябрьское небо. И на подоконнике стоит рука. Женская рука с дешёвым колечком, и пальцы сжимают подоконник так, что блелее ногти. Маша села в кровати. Сердце колотилось. Свет был включён полностью, до последней лампочки, а она всё равно видела эту руку — теперь всегда будет видеть эту руку.

«Она держалась за подоконник, — поняла Маша. — Держалась, потому что боялась упасть. Или потому что хотела выпрыгнуть. Господи, нет. Нет-нет-нет». «Не думай об этом, — сказал голос, и в этот раз он был совсем тихий. — Завтра. Завтра ты всё спросишь у них. С вами вам не страшно». Голос замолчал. Маша сидела в кровати до утра — не потому что боялась уснуть. А потому что поняла: если уснёт, то проснётся там, в той комнате. И увидит ту руку целиком. Утром она написала в чат — и её руки дрожали так, что она три раза стёрла и заново набрала: «Девочки. Она разговаривает. Приходите. Сегодня». И добавила — отдельным сообщением, без смайликов, чего Маша не делала никогда: «Я поняла, как её звали».

Вечером — снова у Лены Лена открыла дверь без звонка — она стояла за ней, как за ней стояла, наверное, весь день. Все три вошли, не снимая одежды, сели в комнате — не на диван, на пол, потому что на полу казалось безопаснее, и никто из них не произнёс вслух, почему. За окном стемнело быстро и без переходов, как осенью.

— Итак, — сказала Катя ровно. — Начнём с фактов. Она вытащила тетрадь. Обычную, клетчатую. Открыла на первой странице — там было пусто, — и написала сверху, крупно: «Что мы знаем».

— Катя... — начала Лена.

— Мы делаем это по-взрослому, — отрезала Катя, и голос её был твёрже, чем она чувствовала. — Или мы сейчас разведемся по домам и сойдём с ума каждая в одиночку. Голос в голове — это, знаешь, плохо работает в одиночку. Сорок восемь часов — и ты уже ведёшь диалоги и расписываешься за них. Втроём у нас есть шанс остаться людьми. Маша кивнула так резко, что волосы разлетелись. Лена посмотрела на Катю — и впервые за весь день улыбнулась. Криво, устало, но по-настоящему.

— Ладно, — сказала Лена. — Голос в моей голове... его нет. У меня запах. Она рассказала — про офис, про тальк и гвоздику, про то, что плакала, и что слёзы не были её. Про «прости», которое прозвучало из её рта само. Катя слушала и писала. И когда Лена замолчала, Катя положила ручку и сказала — тихо, тем самым голосом, которым говорят только то, во что верят: — У меня — жест. Я не нашла чай, потому что ждала, что мне подскажет мама. Моя мама умерла шесть лет назад. А потом рука потянулась в тот угол, где раньше стоял стол, за которым она резала хлеб. В чужой квартире. За чужим столом. Маша смотрела на них — сверху вниз, с пола, подтянув колени к груди.

«— А у меня голос», — сказала она. — Он назвал моё имя. И сказал... он сказал, что боится не вопросов, а того, что после вопросов нельзя вернуться назад.

— Маша сглотнула. — И потом показал мне окно. И руку на подоконнике. И я... я поняла, как её звали. Тишина. Где-то на кухне — в этот раз за открытой дверью — скрипнула половица. Ни одна из них не вздрогнула. Они привыкли к этому за два дня. — Как? — спросила Катя. Маша достала телефон, листнула, покрутила экран к ним. На экране был скриншот объявления с сайта недвижимости. Продажа однокомнатной квартиры в старом доме. Не Ленина квартира — соседняя, через стену. Три года назад. Маша нашла её вчера ночью — просто открыла сайт и вбила адрес, потому что не спала и не знала, что делать с руками.

— Читай, — сказала она. Лена поднесла телефон к глазам и прочитала вслух — и голос её на середине текста сорвался на шёпот, потому что читать глазами было можно, а вслух — уже нельзя: «Продаётся однокомнатная квартира, 34 кв. м, в доме 1952 года постройки. В экстерминально состоянии — ремонт не требуется, вся мебель остаётся. Торг уместен. Срочно: переезжаю, не могу больше здесь находиться». Внизу, под объявлением, был номер телефона. И подпись продавца: «Марина С.». Маша убрала телефон. Села обратно на пол. Обняла колени — плотнее, до хруста. — Марина, — сказала она. — Её звали Марина. А меня — Маша. Мария. И этот голос... — она запнулась. — Этот голос — он не злился. Он жаловался. Как будто ждал, что кто-то наконец спросит. Как будто он все эти годы сидел в этой квартире и рассказывал свою историю — в пустоту, в стены, кому угодно. А теперь ему наконец есть кому.

«И теперь он взял в долг моё имя, — подумала Маша, и мысль легла на неё тяжело, как одеяло. — Не мою. Своё. Она зовёт меня именем, которое было её. Оно звучит почти так же. Маша. Марина. Мы рифмуемся. Дом выбрал меня не случайно». Катя смотрела на тетрадь. На строчку «Что мы знаем». Под этой строчкой у неё было три пункта — три факта, три свидетельства, — и все три указывали в одну сторону, и ни один не был объясним.

«Мы не открыли дверь, — подумала Катя, и это была самая важная мысль за весь её рациональный век. — Мы не открывали никакую дверь. Дверь была открыта всегда. Мы просто

впервые сели рядом с ней и стали слушать». Она подняла глаза на подруг. В комнате горел верхний свет — Лена не гасила.

За окном стояла обычная октябрьская ночь, обычный город, обычные жёлтые окна. И где-то за этой ночью, за этой стеной, под слоем привычного воздуха, сидела женщина по имени Марина и ждала. Ждала — тридцать лет или сколько там — чтобы кто-то наконец услышал.

«— Нам нужно её спросить», — сказала Лена тихо. — То, что случилось. Она не уйдёт, пока не расскажет.

— А если расскажет... — начала Маша и осеклась. Она не договорила. Никто из троих не договорил за неё. Потому что конец этой фразы знали все три — и боялись его одинаково. Что делать потом — когда узнаешь.

Глава 4. Квартира раскрывает историю

Искать Марину они начали с того, с чего начинают всё в этом мире: с интернета. Это был самый рациональный вечер за всю неделю — и потому самый обманчивый. Катя сидела с ноутбуком на Ленином диване и методично забивала в поисковик: «Марина С.», «солдатовичка», «Иркутск, дом 1952 года», «однокомнатная 34 квадратных метра». Маша листала архивы городских газет в читальном зале по выходным. Лена сидела рядом, молча, с телефоном в руках — на её квартире теперь вообще нельзя было оставаться одной, и она не говорила об этом вслух, но и не возвращалась домой раньше полуночи. Ничего не находилось. «Марина С.» — их было в базе объявлений три.

Одна переехала в Красноярск. Вторая продавала детскую коляску. Третья не отвечала на звонок, но это, как заметила Катя, ничего не значило: у половины страны номера звонили с подозрением.

— Смотри, — сказала Маша.

— Что, если Марина — не фамилия. «Марина С.» — может, «С» — это не фамилия, а что-то ещё. Смирнова? Стрельцова? Семенова? — Или она вообще не «Марина С.», а «Марина.

«С.» — и точка после С — это просто опечатка», — сказал Катя.

«— А может, она подписалась первой буквой девичьей фамилии, а потом вышла замуж», — сказала Лена — тихо, глядя в окно.

— И у неё другая фамилия вообще. «Или она не подписывалась вовсе, — подумала Лена. — Или подпись поставила не она. Или объявление писал кто-то другой. За неё». Она не сказала этого вслух. Кажется, впервые за вечер все три думали одно и то же — и все три молчали.

Плентус В четверг Лена мыла пол. Просто мыла — потому что дом просил уборки, а Лена давно поняла: когда боишься, надо мыть полы. Полы не спрашивают, боишься ли ты. Полы просто ждут, что ты дотрёшь до угла. Она дотёрла до угла — того самого угла, где в прошлую пятницу Маша нашла записку и где они потом положили её обратно. Записка лежала там же, в щели между плинтусом и полом, — Лена проверила в понедельник: лежала, уголком вверх, как лежит забытая квитанция. В четверг щель была пуста. Лена замерла со шваброй в руке. Села на колени. Провела пальцами по щели — щель была узкая, длинная, глубиной в палец, и в ней было пусто и чисто, как будто её кто-то вытер изнутри.

«Она забрала», — подумала Лена, и страх, который она уже начало привыкать глотать, встал комом. «Или она отдала». Она поднялась — медленно, держась за батарею, — и пошла в комнату. К книжному шкафу. Тому, который стоял у стены, той самой стены, в которую тянулось пламя свечи в прошлую пятницу. Она никогда не двигала этот шкаф. Он был здесь, когда она въезжала, — тяжёлый, старый, из той мебели, которую не двигают, потому что «так проще». И вот теперь она двигала его. Она толкала — двумя руками, всем весом, — и шкаф поддался легче, чем должен был. Как будто помочь. За шкафом, на стене, было что-то нацарапано. Не надпись. Не слова. Просто длинная, глубокая царапина — одна, ровная, от потолка до плинтуса, — как будто кто-то однажды провёл по обоям ножом. Или ногтем. И под царапиной,

на плитке, мелом — старым, полустёртым, но всё ещё читаемым — было написано: «МАМА. ПРОСТИ». Лена стояла перед этим — не двигаясь, не дыша — ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что это не галлюцинация. Это было слишком настойчиво для галлюцинации. Галлюцинации соглашаются исчезнуть, если моргнуть. Она позвонила подругам. Не писала в чат — позвонила, обеим, сразу, по очереди, и сказала только: — Приезжайте. Я нашла то, что она оставила.

Вечером — у Лены Все трое стояли перед стеной. Свет был включён полностью. За окном шёл обычный дождь, и это было неожиданно утешительно: дождь не умел притворяться. Лена отодвинула шкаф — теперь уже легко, как будто он больше не сопротивлялся. Царапина была на виду. Надпись — тоже. Маша присела на корточки — близко, совсем близко, — и провела пальцем по мелу. Пальцы испачкались.

«— Старый мел», — сказала она. — Очень старый. Не недели и не месяцы. Годы. Может, десятилетия.

— Как он мог сохраниться? — спросила Катя. — Мел вытирается. Он пылится. Он... Она не договорила. Потому что поняла сама, раньше, чем успела закончить мысль: мел не сохраняется тридцать лет на плитке. Если только его не переписывают. Время от времени. Терпеливо. Ровным женским почерком. «Она переписывала это, — понял Катя, и волосы у неё на затылке поднялись, мягко, как под веером. — Все эти годы она стояла здесь и переписывала: МАМА. ПРОСТИ. Она не ждала ответа. Она просто повторяла». Лена села на пол — прямо там, где стояла, — спиной к дивану. И заговорила. Не как рассказ, а как признание: — Мой дом... я купила его четыре года назад. Агент показал — «квартира с историей», сказал он так, весело. Я тогда не поняла, что значит «с историей». — Она подняла глаза. — Я вас не позвала сюда гадать просто так. Я знала про шаги на кухне. Я знала про холод. Я слышала, как ночью кто-то плачет в комнате — тихо, один раз в месяц, потом реже. Я думала — трубы. Я думала — соседи. Я думала всё, что можно подумать, чтобы не думать правду. Потому что правда стоила слишком дорого: если бы я поверила, мне пришлось бы уехать. А я не хотела уезжать. Мне здесь... здесь хорошо.

— Она осеклась. — Было хорошо. Понимаете? Дом хороший. Просто в нём кто-то живёт — не живёт... — она запуталась. — Просто кто-то тут есть. И ей больно. И я все четыре года делала вид, что этого нет.

Тишина. — Лен, — сказала Маша тихо. — Ты не виновата.

— Я знаю. — Лена вытерла лицо рукавом. — Я знаю это головой. Но она переписывала надпись четыре года под моим шкафом. Пока я спала. Пока я пила чай. Пока я говорила подругам, что у дома «хорошая душа». Катя открыла тетрадь. Написала под «Что мы знаем» четвёртый пункт: «Она не привидение. Она — человек, который не смог уйти». Пятый: «Надпись переписывается». И потом — потому что рука уже шла сама, как в тот вечер на кухне, — шестой, который Катя не собиралась писать: «Она держалась за подоконник, чтобы не выпрыгнуть. Потом выпрыгнула всё равно».

Катя посмотрела на то, что написала. Закрыла тетрадь. Слишком быстро, как закрывают дверь в комнату, где кто-то плачет. Фотография Маша нашла её в тот же вечер — случайно, как находят всё по-настоящему важное. Она пошла на кухню за водой — вода была нужна не столько телу, сколько рукам: держать кружку. Проходя мимо антресоли в коридоре, она задела коробку — картонную, заклеенную скотчем ещё при переезде, — и коробка, лежавшая сверху стопки, поехала и упала. Крышка отскочила. Из коробки выпало что-то лёгкое, плоское, прозрачное — и поехало по полу, звеня о паркет, как монета. Фотография. В полиэтиленовом конверте, потёртом по краям. Маша подняла её — механически, без мысли, — а потом посмотрела, и кружка в её руке, которую она так и не успела наполнить, качнулась и чуть не выпала. На фотографии была комната. Ленина комната — та самая, в которой они сейчас сидели. Окно то же. Обои — другие, тёмно-бордовые, с узором, но стены те же. Мебель — другая: стол у

окна, где сейчас стоял диван. Зеркало — то же самое овальное зеркало, только без шторки. И в комнате стояла девушка. Молодая, лет двадцати пяти, в простой блузке, с распущенными тёмными волосами. Она смотрела прямо в объектив — но не на фотографа. Сквозь. Как будто за объективом никого не было, а было окно, и за окном — октябрьское небо. И выражение лица у неё было такое, что, Маша узнала его мгновенно, раньше, чем узнала комнату. Такое выражение бывает у человека, который знает, что скоро случится страшное, — и уже ничего не может сделать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.